

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

На ранних кубистических портретах Пикассо изображение человека прорастает сквозь переплетение объёмов, плоскостей и линий. Не так ли происходит и в наших воспоминаниях? Сейчас память возвращает сохранённые или сохранившиеся фрагменты и ракурсы прошлого, я разглядываю фотографии, сожалею, что не фотографировал больше и чаще, и вспоминаю Алексея Ивановича, грани и измерения этой многомерной личности.

Мы познакомились в 1970 году. Я учился на втором курсе физфака МГПИ им. Ленина. Стены факультета напоминали, что год проходит под знаком 100-летия основоположника советского государства, вождя мирового пролетариата. До сих пор у меня сохранились тогдашние фотографии плакатов и стендов, которые я делал, внутренне отстраняясь от идеологической мишуры. Тексты гуманитарных дисциплин, и без того пронизанные красными нитями идеологической фразеологии, были прошиты усиленными цитатными стежками. Впитав в себя диссидентский дух своей Второй физико-математической школы, я был настроен на *настоящую науку* и пришёл на лекции по истории педагогики с отношением высокомерного скепсиса.

На лекции по истории педагогики я и увидел Алексея Ивановича впервые. Он и мой отец, Владимир Михайлович Кларин, были коллегами по кафедре педагогики МГПИ. Я знал, что они уважали и ценили друг друга, относились друг к другу как *настоящие* профессионалы. В моём восприятии акцент на *профессионализм* означал подлинность, которая противостояла идеологической мишуре, постоянным цитатам из классиков и решений последнего партсъезда.

Солидный, пожилой, облысевший профессор... (ему было 50, точного возраста я тогда не знал, но было видно, что он уже пожилой...). Это соотношение «студент-профессор» застряло надолго. Оно оживало даже спустя четверть века, когда я приходил показать ему биографическую статью, которую я писал о нём в Российскую педагогическую энциклопедию...

Несмотря на уважительное отношение ко всему, чем занимался мой папа, педагогические дисциплины, как и все курсы, где предполагалась идеологическая окраска, вызывали у меня заведомо критическое отношение. В лекциях А.И. чувствовалась глубина, которой не было в других «неестественных» курсах. Это было для меня неожиданно. Тогда я читал с трудом раздобытую дореволюционную Библию и в коридоре подошёл к нему с оригинальным для того времени вопросом о «малых сих». Он, помню, сказал, что

не только детей подразумевал Христос, обнаружив знание источника. Помню, как со свойственным мне (и не мне одному) физико-математическим снобизмом я делился впечатлениями, нарочито-пижонски удивляясь: «надо же, — педагог, а такой интеллигентный и образованный человек...». Глубокая эрудиция, *фундаментальность*, — с этим человеческим измерением Алексея Ивановича я потом сталкивался не раз.

А.И. уважал моего отца, ценил его компетентность, профессионализм, порядочность. Было и другое. Между ними существовал непреодолимый зазор: Алексей Иванович, будучи на два года старше, не воевал, а Владимир Михайлович с первых дней войны пошёл добровольцем в Московское ополчение и воевал на фронте до самой Победы. Позже, когда после переезда они с Лидией Ефремовной, стали жить неподалёку и заходить в гости, А.И. проникся уважением к той особой атмосфере тепла и любви, которую он чувствовал в нашем доме. В этом уважении сказывалось ещё одно человеческое измерение А.И. — он видел и ценил всё *настоящее, подлинное* в человеке.

Следующая наша встреча состоялась семь лет спустя. Я преподавал физику в школе рабочей молодёжи и мечтал мечтами моих родителей, а они видели мой путь в будущее через аспирантуру, науку, вузовскую кафедру... Алексей Иванович в это время был директором НИИ общей педагогики Академии педнаук. Отец повёз меня к нему на смотрины как потенциального аспиранта. Мы с папой приехали к А.И. домой, в новую на тот момент квартиру около Речного вокзала, где он жил с новой женой. Тема разводов и женитьб А.И. упоминалась в кулуарных разговорах. В те годы слова «четвертая жена» звучали для меня необычно, и с тогдашней тягой ко всему оригинальному я испытывал заведомый интерес к человеку, который ещё неведомым мне в то время способом переходил границы стандартных жизненных рамок.

Солнце светило в окна новой квартиры, которая казалась мне большой. Я снова увидел А.И., — после перерыва в семь лет, — он не изменился, всё такой же пожилой... Круглые толстые стёкла очков не давали понять выражение глаз. Голос был одновременно приветливым и требовательным. Он одновременно предлагал, указывал и требовал. Это была манера речи, к которой я не скоро привык.

Но главное: он был не один. Рядом, близко, вокруг была Детка, Козлёнок, Лидочка, Лидия Ефремовна. Она в тот день не участвовала в беседах, молча входила, приносила печенье, ставила на журнальный столик, уходила. Но то, как Он смотрел на Неё, как звал Её, по своему обыкновению требовательно, как Она входила, как смотрела на Него, присаживалась, бросала на

него взгляд, как освещало её солнце, как Они снова и снова поглядывали друг на друга... Рядом с ним Она воспринималась как Жена, гостеприимная хозяйка дома. Она и сама была профессионалом, Учёным секретарём своего Института. В его присутствии она добровольно отходила на второй план, но её внутренний масштаб и сила чувствовались без слов. Рядом были две Личности, наконец нашедшие друг друга. Это было ещё одно человеческое измерение, *измерение Любви*, которое я смог понять и оценить лет тридцать спустя, в сопоставимом возрасте и жизненных обстоятельствах.

Благодаря наследственности, я смог предъявить, а потом и проявить свои способности, — и тогда, и всегда это называлось «по благу». Я сдал экзамены, с ноября 1977 года был принят в аспирантуру и стал встречаться с А.И. как со своим научным руководителем. Меня нужно было «приписать» к конкретной лаборатории. Чужеземный объект и предмет исследования предполагали, что я должен попасть под крыло специалистов по «критике буржуазных концепций», но А.И. высоко ценил научную подлинность. В педагогических науках тех лет она концентрировалась в сфере дидактики или истории педагогики, — так считал мой отец, так считал Алексей Иванович, так впоследствии считал и я. Моя работа была на стыке этих областей. Так моими рецензентами стали высокие профессионалы, — корифеи отечественной дидактики и истории педагогики. Сгущённый анализ англоязычных материалов о преподавании естественных наук привлёк интерес коллег в Лаборатории дидактики, а потом и за её пределами. Впоследствии именно с этой Лаборатории в 1980-м началась моя работа в Институте, — и за это я благодарен Алексею Ивановичу.

Ключевой ценностью для А.И. была компетентность. К её отсутствию он относился с заметной досадой и негодованием. Нередкую для гуманитарных наук того времени надуманность он подмечал и отвергал; если исследовательский тезис подменялся идеологической оценкой, от него можно было услышать: «А вот это уже от лукавого»... Его ученики проходили школу дисциплины мысли. Эту внутреннюю дисциплину он уважал, требовательно ожидал от других. Это было *измерение профессионализма*.

Приходя к А.И., я испытывал трепет Ученика Чародея. С моей семейной и аспирантской родословной я жил с ощущением внутренней высокой планки. Как и мой отец, такой внутренний критерий поддерживал и Алексей Иванович. Мне полагалось сочетать научный анализ с соблюдением рамок и границ, не провоцировать уколы и удары. А.И. соблюдал требования того времени, однако без стремления демонстрировать идеологическое усердие. Он

стремился организовать исследования, в которых важно было содержание, а не идеологические оценки. Интеллектуальная требовательность, взыскательность были свойственны ему повседневно: понятие, употреблённое непродуманно, не к месту, вызывало у него возмущение. В его суждениях прослеживался внутренний ориентир чести, который связывал его с традицией русской интеллигенции, проявлялся и за пределами исследований. Например, он не придерживался антисемитской линии, которую иногда искренне, а чаще из осторожности проводили многие руководители. Такие проявления человеческой ограниченности, как национализм, шовинизм, были ему органически чужды. Это было еще одно измерение — *измерение чести*.

О рамках и правилах игры он не забывал, и нередко напоминал мне, — и не только по поводу взвешенности текстов. Помню, об одном сотруднике института он сказал мимоходом: «Вы с ним аккуратнее, он человек Органов...». Не раз по различным, текстовым или человеческим, поводам говорил мне: «Миша, здесь Вам нужно быть осторожнее...». Здесь проявлялось ещё одно измерение А.И., — его *прагматизм*.

А.И. никому не говорил «ты», никогда не употреблял мата. Впрочем, и без крепких словечек он мог произвести и производил сокрушительный эффект. В раздражении он не кричал, а начинал говорить особенно резко и отчётливо, — вы-го-ва-ри-вал. В аспирантские годы я провел немало времени в его приёмной, ожидая, пока он освободится; помню, как мне приходилось отводить глаза, чтобы не утыкаться взглядом в лицо плачущей сотрудницы, выходявшей после директорского разноса. Ему всегда было по-фамусовски интересно в подробностях знать, кто что о ком сказал, — кто, с кем или против кого... Впрочем, человеческий интерес у него вызывали немногие, это нужно было заслужить; он нередко говорил о ком-либо: «а вот он мне совсем неинтересен...». Он любил власть, был человеком власти и человеком властным... Это было *измерение властности*.

В домашней обстановке А.И. смягчался. И всё же помню, что с некоторого времени, кажется в середине 80-х, на журнальном столике в новой тогда, и в последней теперь квартире А.И. на Ленинском проспекте появилась машинописная записка, подписанная Лидией Ефремовной. Это был сдержанный и ироничный текст, суть его сводилась к тому, что при любых спорах, которые могут возникнуть между Лидией Ефремовной и Алексеем Ивановичем всегда прав он, Алексей Иванович, а не она, Лидия Ефремовна (в записке он так и был обозначен не домашним именем Аля или Алечка, а по имени и отчеству; так же чеканно, по имени и отчеству была поименована и она)...

А.И. многих вывел «в люди», многим помог. В его доме приход гостей или посетителей был привычным и частым. Каждый наш разговор у него дома прерывался звонками по телефону и в дверь, приходили и приезжали из других городов его ученики — бывшие, текущие или будущие. И сейчас каждый год в дни его рождения и смерти в квартире становится тесно. И всё же он знал, что его резкость делает своё: немало людей относились к нему с опаской или с затаённой обидой, хотя уважали все. Его это терзало. Это было особое измерение *ранимости*, о котором немногие могли бы догадаться. Однажды в застолье он стал говорить, что его мало любят... И тогда он сказал: «Хочу, чтобы на моей могиле написали: *Он был хороший...*».

Сейчас, когда я думаю об Алексее Ивановиче, в памяти всплывают курсы и грани этой многомерной личности. Для меня центр воспоминаний — чувство глубочайшей благодарности к нему, к той школе, которую я смог пройти благодаря ему. Сквозь время я по-новому вижу измерения этого незаурядного человека. Фрагменты воспоминаний складываются в объёмный облик. В нём есть грань, на которой должны быть написаны эти слова, — пусть они будут написаны здесь.

Он был хороший.